

Елена Четвертушкина

Капустинка



Елена Четвертушкина

Капустинка

«Издательские решения»

Четвертушкина Е.

Капустинка / Е. Четвертушкина — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-857992-9

Из-за случайного ДТП мальчик Степа оказался в коме. Ему снится удивительный сон... А когда болезнь остается позади, оказывается, что сон-то в руку!.. Как отличить одну реальность от другой? Что могут маленькие и слабые против сильных и жестоких? — да всё, если с ними Бог. И тогда жизнь становится интереснее любого сна!

ISBN 978-5-44-857992-9

© Четвертушкина Е.
© Издательские решения

Содержание

КАПУСТИНКА	6
Предисловье	7
Глава 1	11
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Капустинка

Елена Четвертушкина

© Елена Четвертушкина, 2018

ISBN 978-5-4485-7992-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

КАПУСТИНКА

Автор очень просит читателя иметь в виду, что мнение его, автора, далеко не всегда совпадает с частными мнениями персонажей книги.

Предисловье

*...Просто нам завещана от Бога —
Русская дорога.
Игорь Растеряев, «Русская дорога».*

Нас объявили внезапно и ни за что Новой Москвой, и мы негромко простираемся на юг и юго-запад от Первопрестольной, пока ещё довольно вольготно, без особых бед и судьбоносных потрясений; настоящее имя наше – глухая провинция.

На самом деле места эти обжиты ещё в до-древние времена: были они когда-то Серпуховским княжеством, вотчиной князюшки Володимира Донского Хороброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. Володимир – ещё один из героев битвы на Куликовом поле, где вместе с Боброк Волинским командовал Засадным полком, и обеспечил окончательную нашу победу над татарским лихом.

Наро-Фоминское городище, Петровское городище, Рыжковское селище в течение неспешных веков превратились во владения помещиков Дюгамель, Рябовых и Крыловых, а также князей Барятинских (Рюриковичей!). Нынче мы – Новофедоровское поселение с деревнями и поселками Яковлевским, Кузнецовым, Долгиным, Белоусовым и прочими, – объявлены присоединенными к Москве территориями, что добавило насельникам немаловажных пенсий, а кроме них ещё и тревог, недоумений и подозрений, исторически вымученных и прочно запомненных.

Рыжковское селище, а теперь деревня Кузнецово, пристроилась в углу, составленном из двух речек – Ладырки и Пахры. Когда-то, как говорят древние летописи, Ладырка называлась Ладырь, что создавало некоторое сомнение в положительности прибрежных её насельников: то ли ла-дырь, то ли ло-дырь, одним словом, *была там какая-то история*. К чему было уважаемым предкам припечатывать нашу речку именно таким прозвищем – неведомо: она текла, перекатывалась, растекалась и струилась точно так же, как тысяча тысяч прочих подмосковных рек и речушек. В справочниках и словарях строго указано: этимологию названия проследить не удалось, так как корни его уходят в глухое язычество. Но мстится мне, что это несколько поспешное суждение: Ладырь, конечно, созвучно с *Алатырь* (который *горюч камень*), но легко ассоциируется и с обыкновенной *ладьёй*. Ладно, уж Господь с ними, с предками... Ладырка не длинна, не широка и не шибко заметна в общем ландшафте, по которому протекает, впадая в реку Пахру. Зато Пахра заняла достойное место в русской истории, и вообще была у нас некогда *9-и сажень в ширину и 2-х аршин в глубину, и водились в ней щуки, караси, плотва и ери*; она и теперь, в наши сильно порушенные веки, числится самой рыбной речкой Подмосковья – второй после Оки.

...Несколько войн прокатилось по нашим местам, и из них – две страшных Отечественных. В первую заносчивый бонвиван (размечтавшись, как писано в Синодальном указе 1806 года, *«в буйстве своем похитить священное имя Мессии»*), собрал бесчисленную рать по охвостьям Европы, вооружил пушками и саблями, и, подрагивая ляжкой от нетерпения, повел на Москву. Голодной крысиной стаей, бесстыжей от собственного множества и безнаказанности, катились по нашим полям, оторопевшим от наглости, вражьи полки. Поминальными свечами вспыхивали православные храмы, которые *кому-то черный глаз слепили*; уходили, не дожидаясь насилия, в дремучие леса встревоженные насельники, унося и пряча православные иконы из обреченных на разорение церквей... Но не вышло виктории, не получилась победы у иноплеменников. Потому что не только пушки на пушки, пистоль на пистоль,

не только все сословия, чины и ранги встали плечом к плечу против врага, – вся земля поднялась на защиту Отечества. И горели дороги под ногами супостата, и тропинки в лесах путали и заводили в непролазные дебри да болота; громы небесные, невиданные дожди и лютые морозы гнали армию заробевшего бонвивана прочь с русской земли.

Шалые призраки неуёмных тщеславий больше века табунами слонялись по Европе, пугая мирное население завываниями о несбыточном, с обязательным окончанием на «изм»; и, наконец, в муках породили из себя нового свихнувшегося от комплексов претендента на всемирное воцарение. Virtuозной истерикой задурил он головы не слишком счастливым соотечественникам; стремительно и почти беспрепятственно взял за горлышко нежную кошечку-Европу, и, наслушавшись виватных пророчеств «потомственных гадалок» и «посвященных в Истину астрологов», шмякнул самонадеянным сапогом в Русь. Полетели самолеты, поползли танки по притихшим от ужаса дорогам; задрожали леса от гула артобстрелов, тяжкие авиабомбы в дым размётывали подлесок, выворачивали корнями наружу столетние деревья. Опять неопалимой купиной запылали православные храмы, и опять уходили в леса жители, чтобы оттуда, вместе со всем живым на родной земле, воевать с не знающим жалости врагом. И воевали, и гибли, и побеждали; и время спустя спёкся бесноватый язычник, дрогнул, побежал, да и застрелился под конец со страху в глухой подземной норе.

Считается, у России две беды – дураки и дороги. Хотелось бы поспорить, да не о чем... Но только дураки наши все ж не совсем такие, как в просвещенной загранице. Их дураки все норуют за копейку пятаков настрелять, а наши, по скудоумию православному, всё помогают кому-то, в чужие драки ввязываются... Забугорному категорическому императиву мы противопоставляем свой *этический императив* – чтоб непременно всё было по-людски, по справедливости, а ради этого и жизни не жалко! Вот потому-то наш дурак посидит-посидит 33 года на печи, а потом ка-а-ак ввяжется...

Вторая русская беда – вроде бы, дороги. А и здесь тоже – как поглядеть: в отличие от евродорог, дрессированных и бездушных, наши – живые, чуткие и активно взаимодействующие с людьми, обереги и защитники. В России не бывает прямых дорог, да только не горе это, а благо: дороги обходят опасные места, уводят от беды. В древности сама природа позаботилась, чтобы реки огибали точки с отрицательной энергетикой, а ведь дороги прокладывали именно вдоль рек. Одна из версий о происхождении слова Русь: оно пошло от народа, селящегося вдоль русел рек.

А вода мудра. И это ерунда, что наличие у неё её кристаллической структуры, доказанное наукой, то есть возможность быть носителем информации, есть неременный вывод о наделении её личностью, и, стало быть, божественностью, что, конечно же, несомненная ересь. Слава Богу, в 21-м веке живем, и наука не спит, и богословие не дремлет: смартфоны и компьютеры, не к ночи будь помянуты, также обладают кристаллической памятью, и никто им не молится (хотя некоторые черты *культы гаджета* у некоторых слоев населения всё же наблюдаются). Тут и спорить-то особо не о чем, так как порукой нам всё ликование Крещенского Богоявления: уж вода-то неизменно слышит Божий глас – расступилось же Чермное море перед Моисеем, уводившем еврейский народ от египетской погони, и штормовая волна улеглась по слову Иисусову! Известный факт: когда французы в 1812 году вошли в Москву, перед самым пожаром из Москвы-реки и Яузы ушла вода. Вся ушла, и куда – неизвестно. Покидая Москву, французы заложили мины под Кремлем и запалили фитили, мечтая в пыль разместить русскую святыню; но полил дождь небывалой силы, кое-где загасивший возможность взрыва, а кое-где давший отсрочку, время и возможность бессмертным неизвестным героям затушить заложенные бомбы. Когда же отпылал пожар, и французы бежали – вода в городские реки вернулась, да так, что подтопило многострадальные низины Дорогомилова, Болотной и Якиманки.

Раньше «дорогой» называлось расстояние, пройденное войском, а собственно дорога называлась «путь». Может, оттого и путаные такие наши дороги, извилистые? Строптивые для чужаков и *иванов, родства не помнящих*, они всегда были себе на уме. Они путали и уводили от цели вражьей рати, изводили их непредсказуемостью, ненадежностью, гордым отказом ложиться под ноги. Теперь учёные говорят: *дорога – это энергетическая артерия Земли, она несет собственную информацию*. А как же! – мы-то, верные, всегда знали, что всё вокруг живое, что Господь – *всё во всём* уже здесь и сейчас, и спокон веку так было. Потому что человек – крещёный, а земля – освещённая, оба Божье творение... Американское ЦРУ долго и мучительно изучало феномен «так называемого русского патриотизма». Они, бедные, всё пытались мерить патриотизм приверженностью политическим партиям, политическим лидерам, профитам и гешефтам, – но так и не уразумели разницы между любовью к режиму, и любовью к земле. А мы... Что бы и как бы не раздражало в оголтелых текущих временах, во всеильных, но не всегда дальновидных и мудрых правителях, мы прикипели намертво именно к земле, на которой выстроили дом, породили детей, и увенчали церковью место, под сенью крестов которой похоронили матерей и дедов. И намолёная земля каждым проселком, каждой былочкой малой отвечает нам полной взаимностью.

Мы даже воюем плечом к плечу. 75 лет спустя последней, самой кровавой войны, когда по родной Красной площади нескончаемым потоком шел Бессмертный Полк – потомки выволокли на плечах ту страшную войну, неся портреты тех, кто уже никогда не вернется к нам, не обнимет, не поговорит, и тоска по ним никогда нас не оставит, – по древней брусчатке невидимо двигались и отбивавшиеся вместе с партизанами от врага чащобы, и таившие наши батареи перелески, и тени разбомбленных полей, и укрывавшие мирных жителей рощи с болотами, и отважные речки, и героические горы – вся земля наша.

...В здешних местах от первой Отечественной войны остались только Русский овраг да Французское кладбище, а от второй – памятники, памятные доски, скорбь и память человеческая.

Кузнецово и Белоусово пожог сердитый наполеоновский маршал. Рассказывали старожилы и про унесенную «при французах» в леса чудотворную икону Смоленской Божьей Матери, и про ушедшую в землю церковь, и про Русский овраг за Юрьевым – место особо жестокой сечи, где много полегло наших, и где до сих пор, говорят, слышны лунными ночами крики и лязг оружия.

В Великую Вторую Отечественную захватчик до нас не дошел, был остановлен у Наро-Фоминска, и пришлось ему разворачивать оглобли и шлепать, бессильно огрызаясь, восвояси. Здешний лес был тогда так же дремуч, но не очень пострадал от бомбежек. Не то что недалекое Долгино, где в первый год Войны от взрывов вылетали окна с дверями, а по ночам жители вместе с военными ходили расчищать поля для аэродрома и госпиталя там, где теперь на Лодырьках строят дачи.

У нас до сих пор иногда по ночам дома вздрагивают от тех взрывов...

И всё-таки бомбам удалось погубить много деревьев, да и пожары от них занимались, так что после Войны лес подсаживали. Но всё не удаётся созданию приблизиться к Создателю в созидаании, и насаженные леса, хоть затеяны правильно и по правилам, на первозданные мало похожи. Правда, в корявеньких прописях березок уже всюду растут подберезовики с белыми, но вот в густых, щеткой и дуrolомом вставших ельниках даже грибы не растут, только чернушки по краю, – до того там сделалось темно и неприветливо.

Но жизнь – упрямая, полноводная и бесстрашная, продолжилась. После войны поля были засеяны, деревни восстановлены; ползли неторопливые годы; деревня опомнилась, встрепенулась и даже устремилась куда-то; не её вина, что из-под спуда новых времен выползли новые вороги, от которых не умели защищаться мужественные, но несовременные провинции. Закисли 80-е, отстрелялись 90-е, разорились колхозы, крапивой позарастали деревни; европы ужасались и ликовали переменам, произошедшим с Россией... Но случилось неожиданное: эстафету совмещенной с природой жизни из ослабших рук деревни подхватили дачники, потеряв, сдав или отдав детям московские квартиры. Переехав в деревню на постоянку, они продолжили выращивать огурцы, свеклу и кабачки, ладили из чего придется заборы и сараюги, пасли коз, бродили за грибами, заводили кур; глядя на них, и деревня вроде бы встряхнулась, подтянула фланги, сосредоточилась, опомнилась, вспомнила себя. И опять тут, в глубинке, начали охотнее, чем в столице, рожать детей, подбирать бесхозных собак и кошек, выкапывать с близлежащих лугов лекарственные травы, и пересаживать в огороды, и – жить, несмотря ни на что.

Мы болели, но не умирали.

Пили, но не спивались.

Теряли все, что можно, кроме себя – и выживали, ненавязчиво хранимые всё теми же бескрайними лесами и полями.

...По весне, заглушая скворцов, начинают требовательно покрикивать младенцы на верандах и балконах; детские голоса взлетают в кудрявые кроны яблонь, и опадают осенью вместе с листопадом. С сентября начинают курсировать от перелеска к перелеску яркие желтые микроавтобусы, развозя детей из лесных поселков то в школу, то со школы. Цокают по утрам каблучки молодежи по тихим, тенистым от насаженных деревьев улицам, отсчитывая километры до автобуса, который отвезет на работу. Днем от дач до рынка деловито снуёт пожилое поколение, иные – статные и хорошо одетые, иные – согбенные, в отощавших пальтишках и некогда лыжных штанах, но те и те – аккуратные и подтянутые. Мелькают автомобили, – и гордые хищные иномарки, и инвалиды отечественной автопромышленности, с подклеенными скотчем закрылками, бамперами, стеклами, часто с задорными надписями «На Берлин!», или «Танки грязи не боятся!» на задних стеклах. То новенький горный велосипед верхом на копейке, то пять мешков картошки на багажнике мерседеса... Но и на тех, и на других с поражающей частотой встречается наклейка: «Спасибо деду за победу!», и обязательная георгиевская ленточка.

...Иногда утром возле чьего-то дома можно заметить остатки торопливо замеченных хвостиков: отсюда вчера проводили кого-то в последний путь на ближнее наше, без церкви, кладбище, под ответственность и покров Смоленской Божьей Матери, чей унесенный от немцев Образ так и не вернулся из дремучих лесов к нам, грешным. Памятный Крест в Её память установлен и освящен уже в ближние времена на главной улице Кузнецова.

А завтра – опять счастливый детский визг, стук каблучков, шелест машин и негромкие разговоры...

Жизнь продолжается.

Подмосковная эта земля, предками и пращурами бережно поднятая из дичи, возделанная любовью и молитвой, политая потом и кровью, жива и намерена жить дальше. Она хранит – её хранит – история не одного тысячелетия. Здесь много чего случалось, и Бог даст, ещё случится – удивительного, поражающего, порой необъяснимого.

Глава 1

*Яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростию
сотворил еси, исполнися земля твари Твоя.
(Псалтирь, кф 14, пс. 103)*

Дом обустроился между лесом и садом, сурово нахохлившись ржавым и сторбленным фигурным навесом над порыжелыми ступенями крыльца. Резной карниз со временем малость отслоился от линии крыши, и в образовавшейся щели квартировали воробьи и ласточки. Квартирный вопрос испортил нравы даже у пернатых – выяснение отношений из-за левой прописки, постоянные ссоры о местах общего пользования, скандалы про захват ничейных территорий и общее хамство сделал соседство с ними весьма громогласным и беспокойным.

Кирпичный фундамент кое-где просел, и дощатая завалинка покосилась, стала кривой и ненадежной; полы пронзительно вскрикивали под ногой, балочные перекрытия трещали в сухую погоду, а в дождь длинно постанывали; иногда в недрах дома что-то глухо стреляло, и с потолка, будто облачко пылицы с ореховых сережек по весне, сыпалась невесомая труха. В таких случаях бабушка Та, торопливо крестясь, говорила:

– Кости болят у старика. Ну, что ж, а лег-то ему...

Мальчик очень любил их Дом – по многим причинам.

Он ясно чувствовал постоянную тревогу Дома за всё, что внутри и снаружи, очень ему сопереживал и старался помогать, как мог: следил внимательно, чтобы не пролить ничего на дощатый пол, и улыбался зеркалам. И всегда придерживал двери, потому что вздорный характер дверей всем известен – дай им волю, и они, щербато ухмыляясь щелястыми филенками, охотно доведут хозяев до нервного смеха, то хлопая не вовремя, то взвизгивая невпопад, то нахально самозапираясь. И ещё мальчик гладил – как кошку – перила лестницы на второй этаж; она и впрямь напоминала кошку ленивым изгибом хребта, шелковистостью ступеней и шерстяным сумраком темного потолочного подбрюшья.

С печкой, обеденным столом и рукомойником мальчик обязательно утром здоровался, а вечером желал им спокойной ночи; по гостиной старался ходить так, чтобы не очень звенели в громадном темном буфете стеклянные – с золотыми глазками – стаканчики, которые бабушка Та называла почему-то «лафитниками». А про буфет она говорила, что в какой-то там «прошлой жизни» он был на самом деле старинным замком, и теперь сослан в буфеты за то, что смалодушничал когда-то в суровой битве, струсил и распахнул ворота супостату.

– Баба Та... А кто такой этот... сту-по-стат? Это который в ступке живет, да?

– Ох, – смеялась бабушка, – ох, уморил. В ступке пестик живет, сам погляди! А во-он, видишь, осот в огурцах пророс? – вот это супостат и есть. То есть – вражина бессовестная!

На крыше, железо которой со временем приобрело тот же неопределенный серо-зеленый цвет, что и внешняя обшивка дома, было 2 трубы – печная и каминная. Печка располагалась на первом этаже, и углами выходила на все комнаты: кухню (которая заодно числилась ещё и «залой»), «детскую», и бабушкин «кабинет». В кухне печка, как все, общалась и питалась, только мальчик с бабушкой Той ели щи, курицу и соленые грибы с картошкой, а печка – дрова, валежник и старые газеты. А общались они все вместе, мальчик, бабушка и печка, которая частенько во время разговора как-то особенно громко стреляла в заслонку, или шипела насмешливо. А иногда и покашливала многозначительно.

Бабушка говорила в таких случаях:

– Да. Ты совершенно права.

Или:

– Ничего подобного!

А иногда даже:

– Да что ты себе позволяешь?! А-а, злодейка, опять дымить вздумала...

Печка с бабушкой были очень уж разные – одна широкая и приземистая, а другая – высокая и худая, но когда ссорились, становились даже чем-то похожи: бабушка упирала в бока жилистые руки и блестя глазами, а печка стояла твердо и попыхивала жаром из раскаленного нутра...

В «детской» находился печкин бок – большой, почти во всю стену, с порошком, широким карнизом и небольшой нишей наверху. В нише у мальчика стояла черная крынка с толстым коротким снопом сухих серебристо-серых трав: когда печка разгоралась особенно жарко (бабушка говорила – ух, раскочегарилась!), по комнате плыл легкий запах донника, полыни и мяты. Эту небольшую комнатку бабушка Та величала «голубец», и объясняла, что раньше, очень давно, именно так называли закуток позади печки, с лежанкой, – самое теплое место в избе.

Если вечером за ужином бабушка со «злодейкой» как-то очень ссорились, мальчик, уйдя к себе перед сном, всегда прижимался лбом к белой стенке печи, такой теплой, родной и уютной, и говорил тихонько:

– Не сердись, ладно?.. Ты мне вчера, когда я дрова подкладывал, на руку угольком плюнула, и было больно, а я все равно не сержусь... Я же знаю, что ты не нарочно...

Печка вздыхала длинно и покаянно, где-то там, за стенкой, и в доме снова воцарялись мир и покой.

Когда открывали чугунную дверцу, чтобы подбросить в пылающее чрево полено-другое, по всей кухне разлетались световые зайчики, и пускались плясать по стенам. Мальчик любил смотреть на них, и знал откуда-то, что печные зайчики состоят с солнечными в близком родстве. Только цвета у них были разные (печные – почти красные, а солнечные – золотые), и резвились каждая в «своей» половине кухни: солнечные – по буфету и полу, а печные – по обеденному столу и стенкам.

В бабушкином «кабинете» печка присутствовала в виде небольшого угла, и тепла с этого угла кабинету доставалось не так чтобы много. Но зато там были полки с книжками и старыми журналами, и глубокое мягкое кресло, которое так много раз уже приходилось чинить запасными подушками, что оно сделалось опять пухлым и мягким, только сильно окривело, как будто страдало флюсами со всех сторон одновременно... И ещё в кабинете стояла швейная машинка, которая во внерабочее время превращалась в накрытый кружевной вязаной скатертью стол, почему-то на тощих драконьих лапах, выпустивших когти. Когда машинку доставали из недр стола, мальчик её ничуть не боялся: она прилежно жужжала и весело лязгала, а когда бабушка совсем уж разгонялась со строчкой, цепкие лапы намертво вцеплялись в дощатый пол, чтобы не перевернуться. Но когда машинку убирали, лапы выглядывали из-под скатёрки немножко хищно, как будто под белоснежным кружевом затаился не крупный, но всё-таки дракон, а зловещий нрав драконов всем известен, и мальчика охватывала тревога.

– Бабушка?.. – спрашивал он, прижимаясь к цветастому фартуку, пахнущему печным дымком и ржаными сухариками, – это он... напасть хочет, да? – когти вон...

– Ну что ты, солнышко! – улыбалась бабушка, – какие же это когти, это колесики. Ты сам-то подумай, разве бывают драконы на колесиках?!

– Не-е-ет...

– Во-от. Да и с чего бы вдруг тебе бояться драконов? Разве ты хоть с одним поссорился?

– А ты читала из книжки...

– Ну, так и что? Ты драконов сам видел? – нет, значит, нечего и наговаривать. Мало ли, что напишут – драконы, если и существуют, так тоже Божье творение, и наверняка разные бывают...

Мальчик верил, но появлялись новые вопросы. И в результате длинного и страшно интересного разговора о разновидностях, быте и склонностях драконов возникало столько предположений, допущений и совсем уж невероятных фантазий, что обязательно приходилось доставать ветхую лесенку-табуретку, и лезть на верхние полки кабинета за журналами, где, как точно помнила бабушка, было о драконах много неожиданного. В конце концов оказывалось, что лапы действительно безопасны, а вот что и в самом деле грозит, так это остаться без обеда, потому что за разговорами (тары-бары, растабары! – фыркала бабушка досадливо) ничего, кроме горохового киселя, она приготовить не успела. С чем мальчик и спешил с восторгом согласиться, потому что, кроме киселя, с завтрака оставалось еще несколько штук ватрушек, румяных и пушистых.

– Ну, поздравляю нас всех, – пожимала плечами бабушка, заталкивая лесенку обратно в простенок за буфетом, – мы окончательно сошли с ума. Драконы на завтрак, кисель с ватрушками на обед... На полдник у нас, соответственно, будет куриный суп с вермишелью.

Мальчик осторожно замечал – бабушка Та сама говорила недавно, что куриный суп полезен в любое время, и бабушка, поразмыслив, соглашалась, и успевала к полднику напечь ещё и пшеничных лепешек.

Еще на первом этаже Дома располагалась веранда. Узловатые лозы девичьего винограда стойко берегли веранду от солнца, а вот тонкие их побеги с трепетными бледно-зелеными усиками обладали нравом пытливым, нетерпеливым и даже где-то настырным: они причудливо вились по карнизам, залезали во все щели, и всё норовили пробраться через окна в комнаты.

Веранда изнутри сделалась от времени темно-коричневой. Остекление на ней было сплошным, и мальчику очень нравилось смотреть по очереди во все маленькие квадраты, на которые делилось стекло, потому что каждое из них открывало какой-то новый, другой, удивительный сад. Молодой дубок, который вот только что они вместе с бабушкой выкопали в лесу и посадили, то подступал к окнам вплотную, то вдруг отбежал чуть в сторону, как будто звал куда-то; старые сосны с елями, казалось, исполняли сложный медленный танец, кружась вокруг сарая и бани, и водили сложные хороводы, то приближаясь друг к другу, то отдаляясь.

Рамы запирались на большие железные шпингалеты, которые громко лязгали, когда их трогали – бабушка говорила, так лязгают о щиты мечи римских легионеров. Мальчик не знал, что такое «римские легионеры», и решил, что это такие... ну, такие... ну, в общем, как тяжелые крышки от кастрюль, когда они все чохом сыплются с полочки на чугунную плиту, если не очень осторожно потянуться к вьюшке. Он спросил бабушку, а она ответила – нет, что ты. Оказалось, легионеры – это были такие воины, очень давно, они сражались на войне большими железными мечами, потому что ни пушек, ни танков люди тогда в хозяйстве ещё не завели.

На веранде стояло плетеное кресло-качалка, и другая такая же плетеная мебель: диванчик с горбатой спинкой, табуретка и овальный столик с плетеным же крутым бортиком по краю столешницы, таким неудобным, что есть варенье из банки, рисовать или смотреть картинки в старых журналах (всё, для чего необходим упор локтю) было просто невозможно. Бабушка называла эту роскошь звучным словом «гарнитур». Жесткие части гарнитура были сделаны из гнutoго дерева и выкрашены черной краской, по большей части облупившейся; а спинки, сиденья и столешницу затягивала сетка из светлой соломки, – если провести ладошкой, она была мягкой, как новорожденная трава на лугу.

Ещё на веранде стоял большой сундук из темного дерева, весь перепоясанный железными многосуставными скобами. Часть из них успела отлететь и потеряться, потому что сундук был очень и очень пожилой.

– До-древний, – говорила бабушка с уважением, – старее самой Пахры...

По вечерам на веранде, когда засиживались с чаем и разговорами под ситцевым абажуром, слышно было, как в старом сундуке у дальней стенки ворошатся мыши. Бабушка Та

не обращала на них внимания, но если она уходила надолго в глубину дома (на кухню, заварить ещё чаю, или снять пенку с супа, варившегося на завтра), то мыши начинали бесчинствовать за сундуком совсем уже буйно и разнузданно, и тогда мальчик, ёжась, хватал одну из чайных ложек из треснувшей глиняной (с петухом) кружки на столе, и кидал в сторону сундука. Ложка коротко и внушительно стучала по крышке, и отлетала за сундук. Мыши пугались, на какое-то время утихомиривались, и, пока не возвращалась бабушка, редко успевали опять распоясаться. Днём мальчик мышей ничуть не боялся, и лазил, стараясь, чтоб не заметила бабушка, подбирать из-за сундука ложки. Для этого надо было лечь на сундук животом, крепко-крепко прижаться щекой к горбатой крышке, и тогда рука почти доставала до пола, и можно было нащупать холодное металлическое тельце. Мальчик закрывал глаза, и ему представлялось, что он – отважный матрос, потерпевший жестокое кораблекрушение (как в той книжке, что читали недавно после чая, под абажуром), и плывет он сейчас по бескрайнему морю на обломке корабельного борта, безо всякой надежды на спасение... Тут раздавались бабушкины шаги, и море поспешно исчезало, лизнув напоследок зеленой волной пол перед сундуком.

– Чего-то у нас тут сегодня вроде сыровато, не пойму? – удивлялась бабушка, а мальчик посмеивался тихонечко.

На втором этаже, который назывался «холодным», и ещё «гостевым», была всего одна комната, и туда вела крутая сквозная лесенка, под острым коленом которой стоял холодильник, – его, за глупую привычку недовольно брюзжать и всхрапывать безо всякого повода, бабушка Та называла Пустомелей.

А вот наверху, если подняться по скрипучей лестнице, было ох, сколько всего интересного! И так обидно казалось мальчику, что вся эта интересность предназначена каким-то никогда не бывалым, и потому вовсе невнятным «гостям», которых всё равно не дождешься, да и кому они тут вообще нужны... В то время как в приготовленной для них комнате скучает камин, сложенный из очень разных камней. Там было три больших валуна (два белых и один почти синий); кусок красной кирпичной кладки; арка над жерлом, уложенная из плоских речных камушков, и обычной пестрой гальки – гладкой, шершавой, угловатой или почти круглой, соединяющей всю эту красоту в единое целое... И толстенная доска, свисающая с огромной потолочной балки на веревках – да нет, на корабельных канатах, пожалуй, с громадными тугими узлами. На доске даже можно было спать, если надо – задний край её прочно крепился к стене. Ещё там стояло кресло, сколоченное из не очень толстых стволов молоденьких сосенок, а на нем – подушки из сурового полотна, вышитые травами и птицами. И шкура лежала на полу, бабушка сказала – из козы, а дрова для камина стояли торчком в большом, плетеном из ивовой лозы коробе. На стенке рядом с камином висела удивительная коряжка: как будто полый ствол кривого дерева с одной стороны разрезали и вывернули наизнанку, и получилось что-то вроде цветка ириса, которые цвели у бабушки под окнами. На спальном столе лежало толстое лоскутное одеяло, такое пёстрое, что казалось – кусок летнего луга спрятался от непогоды у них на втором этаже; а на каминной полке стоял большой латунный керосиновый фонарь, который бабушка называла «каретным».

– А зачем он каретный... почему?

– Так ведь раньше, давным-давно, на улицах фонарей не было. У нас-то, в России, дороги и вовсе бесконечные, страна-то какая большая, подумай, разве напасёшься освещения?! Вот каждый сам свой фонарь с собой и возил, вот и на каретах... чтоб не впасть в ямину какую, или не столкнуться с кем. Наш-то, поди, не одну тысячу верст отмахал-осветил, вон третий какой... – с гордостью говорила бабушка.

Мальчик после объяснений стал смотреть на фонарь с особенным, почтительным восторгом.

Но и это ещё было не всё, нет-нет, совсем не всё! Длинные, сводом сходящиеся наверху стенки комнаты верхнего этажа были глухие, зато в треугольнике торцевой стены располагалось весьма примечательное окошко. Снизу, у широкого подоконника, оно выглядело обычным, как вот у мальчика в комнате, только, наверное, побольше; но вот сверху его перекрывало как будто неправильное коромысло, отпиленное от толстой ветки какого-то могучего нездешнего дерева, и этот козырек делал окно с подоконником совершенно необыкновенными, как сказочная избушка. Может быть, поэтому из этого окна открывалось то, что невозможно увидеть ни из какого другого окна в доме. Например, только отсюда можно было разглядеть, что дремучий лес на востоке начинает так круто забираться в гору, что теряется за рамой окна, которое отчего-то невозможно открыть. Мальчик спросил бабушку, нельзя ли им сходить к той горе и посмотреть, где она кончается, а она ответила – нет, не получится.

– Со второго этажа, – как-то нехотя объяснила бабушка, – очень уж далеко видать, дом-то высокий...

Бабушка Та вообще не очень любила, когда мальчик играл на «гостевом» этаже. Может быть потому, что там стоял ещё и железный шкаф с бабушкиным ружьем. Только шкаф все равно был заперт, а мальчик прекрасно знал, что есть вещи, которые трогать нельзя совсем-совсем: топор, например, или спички. Или ружьё.

А всё-таки именно из окна второго этажа, из гостевой удивительной комнаты мальчик впервые увидел тех самых собак!

...Сразу за садом был луг, а за ним – речка. С речками в бабушки-мальчишковом хозяйстве дела обстояли особенно богато: чуть выше по течению в «их» речку Пахру впадала другая – Ладырка, а еще чуть выше и напротив неё – Черёмушка. Да и безымянный большой овраг, лежавший в лесу совсем рядом и тоже соединявшийся с Пахрой, когда-то (как рассказывала бабушка) был рекой, и звался Перековкой.

Место, где стоял дом, именовался «хутор», а ещё – Капустинка. Мальчик удивлялся – капуста у них с бабушкой и вправду росла на огороде отменная, но там много чего и другого было, не хуже – так почему именно Капустинка?..

– Нет, – мотала головой бабушка, – это не от вилок огородных имя пошло. Это от лесной заячьей капустки, её тут по лесам летом – коврами, сам посмотришь...

Мир, окружавший Капустинку, был огромен и полон чудес. Большущий сад когда-то, надо полагать, со всех сторон ограничивался забором; но со временем, которого мальчик уже не застал, забор куда-то подевался. А бабушка не стала восстанавливать, решила – да ладно, зачем... Может, именно поэтому Дом и глядывался так пристально и тревожно в округу решетчатыми, как глаза стрекозы, окнами веранды?.. Боялся, должно быть, что если не доглядеть, обихоженная усадьба задрожит, заволнуется, притопнет яблоневыми ногами, сбросит с плеч белую сливово-вишневую шаль, взметнет смородинно-крыжовенным подолом, и полетит в лес, который вот он, соблазнительно рядом, – к душистым оврагам, к Бобровому озеру, во мхи изумрудные и бурелом, где и пропадет, голова садовая, если не приглядывать строго...

Теперь сад отделялся от тропки вдоль леса только несколькими случайно устоявшими секциями подгулявшего штакетника. Над штакетником нависали, проникая во все щели и хищно вытягиваясь через тропинку, такие дремучие вайи малины, что бабушка Та качала головой и говорила, встряхивая прядками седых волос, постоянно выбивавшимися из-под тугой косынки:

– Эх, не знала бы точно, что там, в глубине, компостная куча, решила бы – не иначе река Амазонка, главная водная артерия тропических джунглей!

– Жуглей? – озадаченно переспрашивал мальчик, – а что это – жугли?.. Там угли жгут?

– Джунгли! – внятно повторяла бабушка Та, и дальше весь вечер говорила только об этом.

... О влажном дыхании душных лесов, таких густых от переплетения стволов и лиан, что тамошним индейцам – собирателям меда диких пчел и охотникам за обезьянами, – приходится чуть не каждый день заново прорубать дорогу при помощи специального ножа-мачете; о стаях красочных попугаев, о райских птицах и птицах-лирохвостах; о ночных криках стремительных обезьян. О светло-коричневой, коварной воде реки Амазонки, и бирюзовых водах реки Нила, и темных, тяжелых водах реки Ганги; о невидимых среди топляка опасных крокодилах, которые днем лежат неподвижно, прикидываясь бревном в ожидании добычи, а по ночам громко ревут; о прекрасных цветках орхидеях, пестрых ягуарах, гигантских ночных бабочках тизаниях. О подземных гнездах муравьев-листорезов, которые приносят в свои пещеры кусочки живых листьев, и выращивают на них грибные сады, которыми и питаются... О летучих лисицах, забавных ленивцах и мудрых слонах... Мальчик, слушая зачарованно, нетерпеливо спрашивал, а не водятся ли у них тут, часом, рядом с Капустинкой, слоны? – и сильно огорчился, когда выяснялось, что нет, не водятся. Вот это они совсем зря, думал мальчик.

Луга, разлегшиеся перед садом, пересекала крепко набитая, поросшая вяжечкой тропинка. Слева молодые сосны гурьбой сбежали с пригорка от старого бора к купе юных березок, но так до них и не добежали, запутались в густой траве и застыли на склоне, простирая умоляющие лапы над небольшой луговиной, где заросли полыни и герани затянул сплошняком ажурными плетями «бешеный огурец». Здесь всегда было настезь распахнуто в небо, и очень солнечно. Справа от тропки половички одуванчика, володушки, куколя, жабрицы и собачьей петрушки выныривали из-под остатков садового забора и неслись в луга, к подружкам – пастушьей сумке и лапчатке, а потом, уже наперегонки вместе перемахнув ромашковую полянку, слетали по косогору к душным зарослям сныти у речки. Высокая – выше мальчика! – сныть всегда одуряюще пахла тёртой морковкой с медом.

... В самом начале лета, почти ещё в конце весны, на лугу среди молодых берез вдруг зацвели огромные тугие колосья, голубые, синие, фиолетовые, сиреневые – бабушка сказала, что их зовут «люпины». Мальчик ходил по лугу, и люпинам конца не было, просто море-океан переливался в берёзово-сосновых берегах, сине-розовый, как облака. Будто вечернее небо прикорнуло в дневную жару подремать в тенечке. А иногда фиолетовый цвет колосьев становился таким густым, что, казалось, под березы пробралась тайком ещё и упитанная гроздовая туча.

В июле выстрелили к небу розовые свечки иван-чая, желтые гроздья пижмы, пыльные шершавые пятки тысячелистника; над лугами потянуло тропическими ароматами валерьянки, иссопа, душицы и донника. Бабушка с мальчиком ходили собирать дикие травы; некоторые связывали в пучки и подвешивали к стропилам в «гостевой» комнате, а другие бабушка вялила, потом резала и заквашивала в чугунках, выставляя на солнечные подоконники, а потом ещё подсушивала в печке. Тогда по дому плыли совсем уже головкружительные запахи, и чай оказывался таким густым и душистым, что не надо и мёда, а уж сахара подавно...

Если встать спиной к дому, то впереди и справа, среди сказочной красоты хвойного леса, лежали овраги. Тропинка к ним вилась среди сосен и елей, а далеко впереди сиял просвет – там, где дорожка ухала в первый овраг, бывшую речку Перековку, от которой остался только неглубокий, но коварный ручей. Начинаясь где-то далеко, в самом сердце окружающего Капустинку леса, капризный поток то разливался вольготно среди корней ивовой поросли, то прятался под густой зеленью калужницы, мари и стрелолиста. А где-то там, выше по руслу, среди ольховых и осиновых зарослей, бабушка рассказывала, лежит Бобровое озеро, которое – вот чудо-то! – сделали звери-бобры. И они там живут, и стоит их плотина, и хатки – настоящие домики из веток и земли!

– Сходим как-нибудь, – говорила бабушка Та, когда мальчик тарасил глаза и с трудом верил, – сам увидишь.

Склоны оврагов тоже поросли лесом – рябиной, орешником, бузиной и ёлками; в глубине оврага всегда было сыро, и пахло снытью и мятой травой, а совсем ранним утром – ещё немножко половой тряпкой. Но зато там росла трава таволога, и калужница, и жарки, и ещё, к сожалению, крапива, с которой у мальчика отношения сложились весьма непростые.

То есть, если честно, вовсе не сложились.

– ...Это ты напрасно, – мягко укоряла бабушка Та, – крапива – она человеку большой друг!

– Друг, ага, – сопел мальчик, – стрекочет больно, а чего я ей сделал?

– Так и обстрекала слегка, и что? Бог ничего лишнего на земле не создал, всё Ему во славу, а нам на пользу... Вот тебе крапива – обстрекала, да, зато кости болеть не будут, верное средство! И волосы мазать соком, если выпадают – первое дело!.. Мы с тобой сейчас, знаешь что, наберем-ка её, да щи наладим. Вкусные щи, объедение, и для витаминов – весной особенно, когда просто беда с витаминами...

Удивительно, но зеленые щи и впрямь выходили – объедение, мальчик дважды просил добавки.

И Капустинку, и приречные луга с разлетевшимися по ним крохотными березовыми рощицами вековой лес окружил подковой; оба конца подковы упирались в Пахру. Ниже по течению, за Капустинкой, лес был густой, глухой и непролазный – как будто в него сбегался весь бурелом с остальных подмосковных чащоб, и встал на дыбы, встопорчившись вывороченными корнями, поваленными стволами, мертвыми ветками, сплетенными в тугие безразмерные плетни, с пронзительным подлеском, кривым, жадным, нетерпеливым... Всё это было подернуто мхом, а кое-где и лишайником; из порыжелых пней шапкой выбились крошки-елки – небось, белка шишку забыла, говорила бабушка Та. И ровная строчка зеленчука прострочила вросшее в землю воспоминание о поверженной временем тысячерукой березе... Но почему-то они с бабушкой, как правило, ходили именно в ту сторону.

– Что ж непонятно, – удивлялась бабушка, – чем дальше от людей, тем лес щедрее, богаче. В другую сторону – поселки, дороги, всё как мухами обсижено. Чего там-то искать, мусора вот разве, так мы с тобой его и дома наберем, дурное дело нехитрое...

В дикой стороне, бабушка рассказывала, водятся даже кабаны. Ну, не совсем тут, не очень близко, «за 3-ей речкой» какой-то; а вот лису и зайцев мальчик видел сам. И ласку, и хорька. И ястребов, пустельгу, рябчиков, малых дятлов, лугового луня, соек, варакушку, щегла! Лунь, огромный и близкий – вот, вот рукой достать! – промелькнул мимо, когда гуляли по лугам, таким неожиданным и бесшумным лунным махом, что даже жутко сделалось. Пустельга кричала постоянно где-то по-над лугами тоскливым и упрямым голосом... Варакушка была серо-коричневая, с синим пятном на груди, а щегол – пестренький, с желтеньким и красным, и качался так бесстрашно на головках репейника и ширицы, и распевал так по-разному, так весело!

Лес мальчика просто завораживал. Гренадерские войска иван-чая, захватившие обочины лугов, внезапно обрывались у края старой дороги; в этом месте её когда-то так разрезали, что она просела и закисло в грязях, превратившись в крошечное болотце, с небольшим зеленым, затянутым ряской глазом настоящей топи, вокруг которой густо разрослись череда и мышехвостник. Бабушка, отчего-то вбившая себе в голову, что мальчик непременно полезет в болотце и завязнет там насмерть, а она и добежать не успеет, каждый раз, как шли мимо, сердито говорила:

– Вот, смотри: сотый раз предупреждаю, не лазай туда. Грязь, топь – видишь, осока забралась, по пояс утопла, да так и не выбралась, с тех пор так там и живет, ни солнышка ей, ни света... Ума-то нету!

За дорогой с озерком кустилась волчья ягода, волчье лыко и бересклет, вдоль тропинки пушился кружевной долговязый василисник, а крохотные полянки целиком устилал упругий селезеночник. Тропинка ныряла под молодые ёлочки на опушке, а за елочками уже стоял сумрак, который охраняли сосны, березы и раскидистый орешник. Бабушка, входя в лес, всегда размашисто крестилась и кланялась, негромко приговаривая:

– Господи, благослови леса наши, Твоё творение! Спаси и сохрани всё, живущее, дышащее и цветущее в нем! Убереги лес от смертного ветра, от пожара, потопа, от жука-оглоеда, от лихого человека...

Мальчик оглядывался, нахмурившись (видать, передалась ему привычка Дома тревожиться за всю окрестность), и спрашивал:

– Бабушка! Тропинка убежала в лес – она там не заблудится?..

– Ох ты, – говорила бабушка, – вот ты молодец, а мне и ни к чему... А ну пойдём, проверим.

Тропинка вилась сначала по густой траве, и бабушка Та говорила, шурясь:

– Смотри, папоротник-орляк. Рассказывают, что он цветет раз в сто лет, и всегда там, где закопан клад, ну, да это так, сказки... Это земляника... А вот, гляди, полянка тебе – капустка заячья! Сорви, пожуй – она кисленькая, её ещё кисличкой зовут... А вот это уже не трава, а молодые рябинки пробилась.

Вскоре лес обступал их уже со всех сторон; мальчику казалось – громадные стволы чуть склоняются к нему, и деревья внимательно его разглядывают, перешептываясь невнятно, как будто удивляются, зачем забрел в их тесный круг этот, маленький, и не надо ли ждать от него какой-либо неприятности? Чтобы они не волновались напрасно, мальчик всё повторял:

– Здравствуйте! И вы здравствуйте! Мы не с бедой, мы в гости!..

– Что ты?.. – оборачивалась бабушка Та.

– Здравуюсь, – говорил мальчик, и бабушка одобрительно кивала.

В глубине леса землю покрывал толстый слой когда-то опавшей хвои, да изредка зеленел вороний глаз, вероника и хвощ, похожий на дымок от сырых дров. На старые стволы, до самого неба вознесшие многотонную гущину крон, кое-где снизу напоз серебристо-зеленый лишайник; иногда ему даже удавалось вскарабкаться на нижние ветви, и тогда казалось, что дерево поросло голубоватым мхом, а листьев или хвои на таких ветках не было вовсе.

...Однажды они пробиралась по широкой просеке, поросшей молодыми березками, и мальчик вдруг увидел, как вылетел из дальнего тумана и долго – так долго! – летел им навстречу кто-то огромный, пёстрый, мощнокрылатый, распахнутый почти во всю ширину просеки. Мальчик совсем было приготовился испугаться, но *этом* резко и неожиданно взмыл ввысь, и исчез в корзинном переплетении сосново-еловых лап.

– Пи-и-у... Пи-иу-пиу-у-у... – раздалось сверху, тоскливо, скучливо, но в то же время чуточку с вызовом.

– Ястреб-тетеревятник, – сказала бабушка с удовольствием, – гнездо у них на верхушке старой елки, как раз рядом с нами, по дороге к оврагам...

...Иногда мальчику снились сны. Но он обычно не мог припомнить, что именно снилось, даже если просыпался в слезах, или с температурой, что изредка случалось. Тогда бабушка поила его травяным чаем, спрашивала – ну что ты, что ты... плохое что-то привиделось, а?.. Ничего, молитовку прочту сейчас, и повторяй за мной: *Господи, живый в помощи... убереги от страха ночного, и вещи, во сне приходящая...* и спокойно заснешь, страхов больше не будет.

Он послушно повторял, размазывая слезы по лицу и утыкаясь в пуховый платок, который накидывала бабушка, если приходилось вставать ночью. Он действительно ничего не помнил, и не понимал ничего – какое-то лицо, как будто знакомое, но очень грустное и встревоженное, и голос, который говорил... что-то говорил... звал, может быть? – нет, не вспомнить...

Но молитовка помогала, слезы уходили; мальчик выныривал из платка, и видел задернутое шторой окошко, белый угол печки, ходики на стене, мирно отстукивающие секунды.

– Бабушка, а почему часики такие старенькие?

– Так ходили-то сколько! Вот и пообносились в дороге... Высохли слёзки-то? – спать давай; завтра с утра нам с тобой в лес, за шишками – самовар будем ставить, а то уж он, поди, соскучился, – чего-то всё мы с тобой с чайником да с чайником...

– К Бобровой плотине пойдём?!

– Нет, к плотине как-нибудь потом, там всё больше ели, сосновой шишки мало. А завтра за шишками. И я тебе волшебное дерево покажу...

Бабушка крепко прижимала мальчика к себе, гладила по голове, крестила и напевала колыбельную высоким, тихоньким, но чистым голосом:

*– ...Баю-баюшки-баю,
Спи, я песенку спою.
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.
Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой.
Ветер после трех ночей
Мчится к матери своей...
Ветра спрашивает мать:
– Где изволил ночевать?
То ли волны все гонял,
То ли звезды все считал?
– Не гонял я волн морских,
Звезд не трогал голубых.
Я ведь мальчика качал,
Колыбельку охранял...*

И мальчик засыпал, уже спокойно и до утра.

На следующий день он проснулся рано, потому что всё свербело в голове, какое такое чудо-дерево покажет бабушка?

А она с утра, как назло, долго искала специальную корзину для шишек, потом мальчиковы ботинки, которые, будто нарочно, разбежались ещё с вечера по всей прихожей, и упрятались, кто под лавку, кто в тумбочку; потом всё искали бабушкины очки; потом ещё что-то совершенно необходимое и нужное потерялось... Когда стало почти ясно, что так сегодня никто никуда не пойдёт, и мальчик совсем было наладился взвыть протестующе (ну, в самом деле, а?!), и даже слезы приготовился нашмыгать, чтоб уж наверняка, – тут бабушка вдруг скомандовала выход, и громко щелкнула за спиной мальчика норовистым дверным замком. Сад, махнув на прощанье ветками почти доспевшей желтой сливы, остался позади, а под ноги стремительной ящеркой скользнула веселая луговая тропка.

...Сколько мальчик себя помнил, у них с бабушкой на Капустинке всегда стояло лето. Вроде бы он знал, что так не бывает, но бабушка говорила – он просто маленький, и многого не помнит, а мальчик верил. Они часто уходили в луга, то за травами, то за ежевикой, то просто так; и сейчас вот шли через хорошо знакомую ромашковую поляну. За ней видна была полоса недалекого леса, цвета старого мха; в синем-синем небе толпились волны белопенных облаков. Мальчик смотрел, как взлетают из-под ног кузнечики, один за другим, а потом вдруг – птица; тогда он раскинул руки и побежал, ему казалось – с каждым шагом-прыжком он под-

нимается над удивленной травой всё выше, все увереннее, и вот-вот сейчас ноги совсем отрвутся от земли, уже окончательно победив, как птица, все страхи, все законы привязанности ко всему, кроме неба и простора... Но ноги заплелись в подмареннике, и он упал, хохоча, в душистую траву, и закричал:

– Бабушка-а!.. Ты видела, я летел! Я летал, ты видела?..

Радуясь и ласковому дню, и долгожданному походу, он начал прыгать, как жеребенок, а бабушка улыбалась. Но когда он как-то особо расшалился, топая, пыля и танцуя по мускулистой плоти тропинки, и попытался пяткой вбить в неё горбатый камешек, бабушка вдруг сказала строго:

– А вот этого не надо, не тупоти по земле!

– Почему? – удивился мальчик.

– Да потому что она тоже живая. Тебе бы понравилось, если бы тебе по голове стучали? – вот и не тупоти... – мальчик притих удивленно, и больше уже не топал, только вглядывался пристально в ямки и бугорки под ногами.

– Всё живое, – наставляла бабушка Та, – всё, что Господь создал: цветок, травка, дерево, зверек, человек. Мы вот с тобой давеча вокруг яблони с топором ходили – помнишь?

– Ага! – соглашался мальчик. В начале лета заболела яблоня-анисовка: листья покоричневели и начали скручиваться, маленькие ещё зеленые яблочки попадали, и бабушка, повздыхав, сказала:

– Ну... старенькая она совсем. Тут либо вырубать, либо с топором вокруг походить.

И походила, что-то сердитое шепча под нос, но ничего не объяснила. А теперь сказала:

– Мы тут, на Земле, все одной крови, Божьей. И понимаем друг друга. Я нашей яблоньке так и сказала: я тебя и обрезала, и удобрила. Теперь либо приходи в себя, либо вырублю, не обессуди... Вот, расскажу тебе... На далеких Соломоновых островах живет племя дикарей. Так вот они, собираясь расчистить новые участки под поля, не вырубают деревья, – они, представь, просто собираются всем племенем, и долго ругаются на них. И деревья начинают чахнуть, и гибнут... Был такой в Америке ботаник, Лютер Бёрбанк; он выводил новые сорта растений – скороспелые сливы, картофель морозостойкий... А знаешь, как он этого добивался? – просто разговаривал с растениями, объяснял, чего он от них хочет. И получал замечательные результаты, до сих пор некоторые виды носят его имя. Это не сказки, это – факт, и не волшебство никакое, – так Господь устроил, понимаешь, ведь *в начале было Слово*... Впрочем, успеешь ещё понять...

К удивлению мальчика, яблоня тогда сбросила порченный лист, ещё с неделю подумала, и вдруг, как встряхнувшись, позеленела, повеселела, и вскоре опять мало чем отличалась от остальных.

...В тот раз по лесу ходили долго, мальчик даже успел притомиться. И шишек набрали, и устали, и посидели-поотдыхали, и ватрушками подзакусили, а бабушка все вела и вела куда-то.

– Ба-а... Я устал. Мы куда идем-то?

– Так волшебное дерево я тебе обещала!

Миновали невесть кем проложенную просеку, заросшую тавологой и крапивой; пересекли еловый язык леса, где нога по щиколотку утопала во мху, выбрались на поляну, невысоким куполом возвышающуюся над окрестностью, скупю поросшую сосной и березой... А чуть сбоку, почти набекрень, и вправду возвышалось удивительное дерево. Мальчик кинулся вперед – разглядеть его поближе, и увидел: сухое, черное, причудливо изогнутое и хребтом основного ствола, и зигзагами жестких ветвей... А по голым без коры веткам вились зеленые лианки, и трехпалые листья колыхались на ветру, и трепетали облачка почти невидимых цветков

в крупных гроздьях... Мертвое дерево жило и дышало чужой, благодарной, Христа ради подхваченной с земли, не умеющей самостоятельно подняться жизнью.

– Ба... Баба Та, это оно что?

– А... – бабушка опустила рядом на чей-то давно обрушенный ствол, поставила полную шишек корзину, сбросила с головы платок: – богатый дуб был, раскидистый, сколько боровиков под ним насобираала... Что уж там с ним, кто знает – только сохнуть начал, года два, и не стало, вон, одна станина осталась... А на следующий год пришла... Смотрю, что за притча – девичий виноград по стволу вьется, думаю, как такое?! Потом только поняла: очень снежная зима была, ручьи текли сюда от самой Капустинки, по канавкам да проталинкам. И, видимо, донесли ягоду, а может, и целую лозу вымытую, кто знает... Она и прижилась, подхватило её дерево-то. Значит, не совсем мертвое, раз другую жизнь может поддержать... У Бога жизнь никогда не кончается, запомни.

– Бабушка, далеко-то как от Капустинки, мы с тобой полдня ходим!

– Да ладно, мы с тобой кругами вокруг Капустинки так и ходим. Тут всё – вокруг Капустинки...

Иногда в мире, окружавшем мальчика, случалась непогода, когда на хутор обрушивались непроглядные ливни. Они всегда приходили в обнимку с жестоким ветром, и ломились оба в западную стенку дома, и грохотали по ней, как сотней кулаков. Хорошо еще, что Дом стоял спиной к лесу – деревья принимали на себя основной удар, скрипели и постанывали, но держались крепко. Окно кухни все оказывалось залито; на площадке с уличным столом и скамейками под яблоней рвался с шеста флюгер, сделанный из консервной банки, металась лопасти, как крылья перепуганной вороны. Сквозь окна веранды видно было, что даже птицы летают низко и тяжело, иногда даже вперед хвостом немножко. Дождь так барабанил, так топал по карнизам, что мальчик начинал догадываться: слоны у них тут, судя по всему, всё же водятся. Может, они выходят только в дождь, а остальное время прячутся? Может, это такие специальные водяные слоны, – ведь есть же, есть всякие морские львы, и морские ежи, и морские кони... А эти слоны пресноводные, вот и всё!

Вот в одну из таких ночей мальчику и приснился сон, как он один, без бабушки, пошел искать Бобровое озеро.

...Поначалу ему снилось, что он и не спит вовсе, а думает. Думал он, если честно, о зыбкости и ненадежности мира, о его непонятной противоречивости. И было с чего: как же так, ведь поначалу-то бабушка твердо его обнадежила:

– ...да тут рядом, за второй переправой! Всё увидишь: и хатки бобровые в воде, и деревья поваленные, на них даже следы зубов бобриных увидишь. Бобры – ночные жители; а всё же не всегда успевают за ночь дерево подгрызть так, чтоб сразу свалить. Вот и стоит на берегу не дерево, не бревно, – собой-то толстенное, а в угрызенном перехвате – с ладонь, не больше. Так вот прислонишься по глупости, да и грянешься вместе с ним...

Мальчик всё ждал и ждал, всё спрашивал – когда же пойдем смотреть, а тут начались совсем уж досадные и ненужные проволочки:

– ...Нет, сегодня никак не получится сходить, – говорила бабушка, – полоть пора огород. И не завтра, завтра компост ворошить будем... Да репу повыдергать надо, потому как видишь, дожди зарядили из «гнилого угла». Вот через пару-тройку дней разве... Да что ж нейметса-то тебе, – уже начинала она сердиться, – куда спешить-то! Прямо унес кто наши овраги, прямо сдались они кому, кроме нас с тобой, вот же сокровище несказанное... Никуда бобры не денутся – я скажу, когда...

Мальчик даже и не спросил, что за гнилой угол такой, до того огорчился – крепко убеждение, что «пара дней» бабушки Той вообще никогда не кончится. То прополка, то репа, а потом

ещё что прикипит, а вон и дождя уже никакого нет... Вот что тут прикажете делать? Бабушке-то хорошо, она всё уже видела, всё знает, а как объяснить, что мальчику ну просто – ну, позарез необходимо увидеть собственными глазами и озеро, и хатки! И стволы, прогрызенные на ладонь, и для чего откладывать такое важное дело, вон и месяц на небе!..

Наяву он, скорее всего, просто расстроился бы, и извел бабушку нытьем и приставаниями. Может, и поплакал бы даже от обиды... А во сне просто решительно полез из-под одеяла. Бабушке некогда, и теребить её лишний раз не хочется; стало быть, придется на сей раз обойтись без бабушки, вот и всё. Конечно, потом, когда мальчик станет красочно рассказывать об увиденном, она горько пожалеет, что так долго откладывала поход... Мальчик ничуть не боялся, потому что ходу до озера было с полчаса, и дорога известна: иди да иди себе вдоль оврага, всех и дел, негде там заблудиться, сколько раз хаживал мысленно, следя за бабушкиным рассказом... Так что он решительно откинул цветастую занавеску, протиснулся в приоткрытую раму окна, нащупал босой пяткой приступочку над кирпичным фундаментом дома, и легко спрыгнул вниз, в росистую ночную траву. Обогнул Дом, ведя рукой по остывшим за ночь доскам обшивки: ты не бойся, ничего со мной не случится!

...А выскользнув из сада, оставил луга по левую руку и решительно свернул направо, в лес перед оврагами, которые несколькими глубокими руслами стекались к Пахре. Лес вокруг них не был ни буреломным, ни мрачным: огромные сосны и ели стояли тут на вежливом расстоянии друг от друга, нахальный и бессовестный подлесок отсутствовал; только кудрявые отары лесной малины, да охапки папоротника-орляка, да коврики заячьей капустки, да тончайшие изломы одиноких кустов бересклета.

Оставленный позади луг сверкал от росы, кое-где темнели островками березовые хоровады... Наверное, в мальчиковом сне время всё-таки близилось к рассвету, потому что он совсем не спотыкался о толстые корни вековых елей, пересекавших тропинку, да и небо вверху отчетливо, хоть и тускло, серело через хвою. Вскоре впереди ещё больше посветлело – он подходил к оврагу. Его следовало, как только увидишь, оставить по левую руку, и идти по тропинке, провешенной по верхней его кромке дальше, до второй переправы; миновать её, и, тщательно оглядевшись, высмотреть совсем узкую прогалинку: она уходила всё дальше по откосу, то пугливо отбегая от кручи в глубину леса, то отважно возвращаясь обратно. Так мальчик и сделал.

Лес не молчал. Ну да, бабушка же говорила, летом в лесу мало кто спит по ночам, – вот и сейчас множество звуков раздергивало ночь на куски. Какие-то зверики малые шуршали по кустам, кто-то всё пытался решительно, но неуклюже устроиться на тонких ветвях орешника за тропинкой; грустными голосами перекликались совы: э-э-эй, э-эй... эй-й-ей, ой... Шелестел болотный сверчок, и ещё какая-то птица то принималась всерьез распеваться, то вдруг бросала на полу-ноте.

Мальчику показалось, что и шел-то он по тропе совсем недолго, но противоположный склон вдруг шарахнулся в сторону куда-то, овраг будто распахнулся, и оттуда, из глубины, повеяло холодком и запахло стоячей водой. Было ещё недостаточно светло, да и туман висел в овраге, но что это именно Бобровое озеро, мальчик понял сразу. Он остановился, вглядываясь, и увидел впереди голое, без коры, туловище поваленного ствола, ухотившего поверженной кроной куда-то вниз; оно, и другие упавшие деревья ниже по склону – все тонули вершинами в черной воде, и терялись в ней, путаясь в собственных отражениях. Под самым берегом было очень темно, а дальше чуть светлело, и видны были над черным зеркалом воды рогатые локти недоутопших сучьев. Кое-где между ними возвышалась пара то ли горок, то ли холмиков – никак не разглядеть было в размытой туманом темноте, их заслоняли и торчащие строем топляки, и низкие ветви ещё прямо стоящих по берегу деревьев. Озеро подернула ряска, казавшаяся неподвижной. Но почти у того места, где стоял мальчик, овраг пересекала полоса особенно густой темноты, будто черный мосток, старательно утопанный сверху и неряшливо растре-

паннный по подолу, и оттуда слышалось непрерывное журчание бегущей струи, и веселый плеск воды, падающей с небольшой, но всё-таки высоты... И он понял, что вот же она, вот – бобровая плотина!

Затаившееся на дне оврага озерко никак нельзя было называть тихим местом. Кроме разговорчивого потока, слышалось отовсюду и многозначительное побряхтывание жаб, и мелодичный ксилофон лопающихся в водяной траве пузырьков, и звонкие шлепки лягушек, перескакивающих с кочки на кочку – как босыми пятками по горячим от солнца доскам пола. И какая-то ещё сноровистая живность теребила ряску, блюмкая, булькая, встряхиваясь, плескаясь и журча, а кто-то даже всхлипнул пару раз (или подчихнул?) под самым берегом, в клубках черемухи, прильнувшей к воде.

Мальчик стоял тихо-тихо, прислушиваясь – всё ждал, когда бобры начнут подгрызать стволы себе на хатки, но внезапно услышал совсем другое.

Прямо перед ним в глухом сумраке спутанных кустов, на который он и не подумал обратить внимания, в нескольких буквально шагах, что-то вдруг завозилось сильно, треснула толстая ветка, и чей-то голос, низкий, но *не страшный*, внятно произнес:

– О, холера.

– Тс-с-с... – откликнулся другой голос, тоже солидный, но повыше.

– А я всё слышу, – сообщил мальчик (во сне он был, конечно же, отважный путешественник, которому все моря по колено): – вы чего прячетесь, тут же нет никого!

Он хотел сказать, что ласковая ночь объединила их всех под темным, но теплым крылом, и потому все они – и овраги, и птицы, и зверики, – никак уж не могли теперь оставаться никому тут чужими, они отныне вместе, и почти что родня... Но высказать такое было сложно, и он, от переполнявших чувств промахнувшись по всяким ненужным недоумениям, непониманиям и недовериям, спросил нетерпеливо:

– А вы бобров видели?

– Э-э-э... – озадаченно протянула тьма за кустами, и, деловито чихнув (раз, и ещё раз, уже чуть не яростно), призналась: – видели бобров, вот как тебя. Толстые, мокрые и ругаются.

– На меня? – замирая от волнения, спросил мальчик.

– На нас, – уточнила темнота, – мы, кажется, э-э-э... были недостаточно деликатны.

– Это бывает, – легко согласился мальчик, пристраиваясь на поваленное дерево, – и знаете что, вы вылезайте сюда.

– Ты думаешь? – спросила темнота с сомнением.

– Конечно, – удивился мальчик, – а почему нет?

– Вдруг бабушка заругается... – предположил мрак за кустами.

– Не-е-е! – уверил мальчик, рассмеявшись, – баба Та добрая, а я скажу, что вы хорошие, вот! Выходите, отсюда плотину видно, и хатки...

– Н-ну, если ты настаиваешь... – не очень уверенно согласилась темнота, после чего выделилась из кустов, неслышно приблизилась и распалась на две фигуры, обе ростом как раз с сидящего мальчика.

– А я вас знаю! – обрадовался мальчик, приглядевшись, – вы черная, и рыжая с черным, а пестрая побольше немного, и вас двое, и вы – собаки! Я видел из окошка на втором этаже!

– Ох, уж этот мне второй этаж, – сказала черная собака, неторопливо приблизившись. Она с явным удовольствием села возле мальчика, немножко подумала и задумчиво лизнула его в щеку; ещё немного подумала, и легла. И со вздохом призналась:

– Все-таки, старая я стала. Ходить трудно, стоять совсем не могу...

– Надо бабушку спросить! – жарко воскликнул мальчик, которого мгновенно и глубоко огорчила проблема новых знакомых, – у неё, она говорит, тоже кости часто болят, она травки всякие заваривает...

Собаки как-то виновато переглянулись, и второй, пестрый и совсем здоровенный, сказал печально:

– Думаешь, не спрашивали... думаешь, всё всегда получается, как захочется...

Мальчик, который именно так и думал, даже поверить не смог вот так сразу, что может быть иначе; только почувствовал, что им всем сейчас сделается очень грустно, и поспешил сменить тему:

– А как вас зовут?

Это оказался удачный ход: собаки опять повеселели, и по очереди представились.

– Котя, – привстала черная собака. Потом внимательно взгляделась в основание собственного хвоста, и пояснила задумчиво: – собственно, «Котя» – это так, для своих, на самом деле там всё много сложнее... Но как-то мне сегодня не до протокола.

– Буля, – гордо вздернул голову пестрый, – то есть, на самом деле герцог Бульонский. И это только если недосуг...

– Здорово, – оценил мальчик, – а где вы живете?.. А, знаю! – вдруг сообразил он, – на той горе, до которой не дойти, да?

– Ну, в общем, да... – важно кивнул огромный герцог Бульонский. Теперь мальчик уже видел отчетливо: на самом деле они были оба поджарые, с короткой шерстью, но всем остальным сильно отличались друг от друга: черная Котя имела стоячие острые уши, аристократически узкие лапы, и красиво опушенное, элегантно перо хвоста. У пестрого герцога уши были отложные, лапы мощные, хоть и не толстые, а хвост, как только его оставляли без присмотра, отчетливо сворачивался в колосистый бублик; сравнив размеры собак с собственным ростом, мальчик немедленно и от всей души простил здешним лесам отсутствие слонов.

И тут в озере плеснуло.

Котя привстала, но тут же легла обратно, а мальчик вскочил, и сунулся было к оврагу поближе, но из-под руки его вывернулся герцог, и шепнул:

– Не сюда. Беги за мной, не отставай!

И мальчик побежал.

...Он потом рассказывал бабушке, что сам удивлялся – как это удавалось передвигаться так стремительно, что кусты орешника, стволы ёлок и сосен будто сами расступались перед ним, а он бежал – нет, летел! – над кустами бересклета, малины, папоротника-орляка, через канавку ручья, через большой муравейник, и ещё один, и над поваленным стволом вдоль оврага вверх, и тут же влево, над ивняком, тавологой, айром, на другую сторону через черный поток, и...

– Здесь... Т-сс! Смотри.

Мальчик замер, припав к мокрой от утренней росы спине герцога. И увидел: в раздвинутых кулисах сначала ушей герцога, а потом в распахнутом занавесе прибрежных кустов, дальше и ниже – выныривают из ряски, и плывут к другому берегу, и выбираются на него толстые, черные, на удивление юркие фигурки; и вот уже не видать их среди кустов малины, бузины и бересклета, только слышен шорох в зарослях, и вдруг всё стихает, и сквозь дребезг лягушек пробивается едва слышный мерный и упорный хруст: бобры догрызали початый с вчера ствол. Это длилось совсем недолго, а потом ночной покой разорвал оглушительный треск, которым качнуло прибрежные кусты. В озеро, взметнув настоящее цунами, ухнуло дерево, ушло в глубину и тут же вынырнуло, закачавшись на им самим поднятых волнах, разгоняя мусор и топляки, выплескивая на травянистые берега оврага почти настоящий морской прибой с мелкими сучьями, ряской и потрясенными лягушками.

В лесу, где-то за спинами мальчика и Були, свалилась с ветки пара-другая ворон, заорав страшно спросонья. С прибрежных черемух снялась стайка мелких каких-то птах, и молча в ужасе растаяла в предрассветном тумане; отплюнув со страху добычу, противоторпедным зигзагом метнулся обратно в норку хорек; хрюкнул от неожиданности и свернулся в шар воз-

мушкетер; чуткая лань вылетела из орешин и помчалась, ныряя в тумане, и канула в коричневую чашу... Не обращая внимания, бобры деловито подгрызали следующее дерево.

В какой-то момент замороженный зрелищем мальчик вдруг зевнул сладко-сладко, и Булька сказал:

– А не пора ли вам спать, коллега?

Тут же и Котя появилась откуда-то, и они проводили мальчика до дома, и герцог охотно подставил спину, чтобы не шуметь неверной доской завалинки, и потом оба постояли, поджидая, пока мальчик взлезет в окно, и пока не захлопнет его...

Конечно, мальчик рассказал бабушке про сон. Баба Та перекрестила его, посмеялась, расспросила о подробностях – пару дней больше ни о чем и не говорили! – а потом мальчик наконец додумался, что его всё время так задевало и тревожило.

– Баба Та, это же сон был, да?

– Конечно, солнышко.

– А как же тогда я с нашего гостевого этажа этих собак видел?

Бабушка внимательно глянула на него, вздохнула и сказала печально:

– Не знаю.

И так как-то она это сказала, что мальчик сразу понял: просто это тайна. Такая, про которую нельзя никому-никому рассказать, как про гору, видную с «гостевого» этажа, пенную океанскую волну перед сундуком на веранде, и вечное лето на Капустинке. Он уже чувствовал: много, много тайн живет вокруг него, и как же это замечательно!

...Однажды, ближе к вечеру, пошли гулять вдоль речки краем леса. Вечер выдался ясный, теплый, ярко-красный, он залил прозрачным кармином каждый стебелек, каждую кисточку, каждую ветку, и белый платок бабушки, и пыль тропки. Мальчик удивлялся, как неожиданно и явственно почему-то поредела листва на ветлах у Пахры, и в появившихся просветах видны там, за речкой, – поля, и вьющаяся по ним дорога, и разномастные крыши недалекого поселка.

– Бабушка! А пойдем до того поселка? Он же – вот же он...

– Не дойдем, – сказала бабушка, взглянув в неровный ряд домов и домиков, как будто в первый раз их видела, – это только кажется, что рядом. Поздно уже, да и устанешь – туда на самом деле шагать и шагать...

– Ба-а, ну пожалуйста... Пожалуйста, ба!

Бабушка сказала – ну, что ж, ну давай попробуем, и они пошли, и шли довольно долго, и речка вроде бы приближалась, но чем ближе они к ней подходили, тем хуже виделись дома на той стороне. А потом вроде и темнеть начало, как-то непривычно рано, и крыши вовсе скрылись из вида. Мальчик ещё никогда не ходил так долго в ту сторону.

– Не огорчайся, – сказала бабушка Та, когда они всё-таки решили повернуть обратно, – сходишь ещё. Всему свое время...

Зато в лес они наведывались постоянно, за всем на свете – земляничкой, лесной малиной, грибами, шишками, или крепкой коряжкой, на которую можно подвесить пестролистную настурцию... Баба Та вечно говорила – ходим-то на самом деле вокруг Капустинки! – мальчик уже привык; а всё равно частенько подозревал, что бродят они иногда уже по каким-то совсем дальним краям, может, даже в другой какой-то стране, кто её разберет, а может, и вовсе на иной планете... Как-то раз в поисках необходимой бабушке травки забрались совсем далеко. Повсеместный бурелом, через который, казалось, только бабушка Та и знала, как пробиться, отчего-то кончился, хотя чистые, почти без подлеска поляны под кронами вековых дубов и сосен всё-таки перемежались изредка лесными завалами, вывороченными кокорами мощных стволов,

с поросшими земляничкой яминами и провалами; кое-где попавшие под мертвый ствол молодые деревца продолжали расти, зеленея из-под невнятного, расплзающегося вала умерших деревьев. Местность отчетливо повышалась в гору – видно было, как лес тяжело карабкается на склон, оступаясь и роняя по дороге тяжелые елки. Мальчик уже почти собрался с духом спросить – не на *ту* ли дальнюю ли гору они идут? – но отчего-то заробел. Бабушка же была весела, пела псалмы и молитвы (эй, не отставай, и давай-ка вместе: «*Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих...*»), и смеялась от радости, что так вокруг всё густо и насыщенно. Смотри, смотри! – говорила она, тут всё Божье, здесь всё Господь создал, ничего человек здесь напортить не успел, только смотри и радуйся... И мальчик тоже начал радоваться. Они набрали и грибов, и малины, и шишек для самовара... Но вдруг в глухих кустах над очередным завалом что-то сильно ворохнулось.

Мальчик от неожиданности испугался, но бабушка твердо взяла его за руку, и громко сказала кустам:

– Если ты Божья тварь, то выходи, не бойся, мы тоже Божьи, а значит – родня. А если ты кто другой, то иди себе с Богом... – и крепко, как припечатав каленой печатью, перекрестила кусты.

Кусты притихли испуганно, а потом из них на секунду появилась сконфуженная морда герцога Бульонского, и так же бесшумно исчезла.

– Ах ты, бездельник! – крикнула ему вслед бабушка, и засмеялась. А потом нахмурилась и принялась ворчать: – Вот же нужда какая по буреломам скакать, других дел не нашел... Все ему нипочем, озорнику... Ума-то нету...

Эту историю мальчик тут же «намотал себе на ус». Намотай себе на ус! – так часто говорила бабушка, помахивая указательным пальцем, и мальчика это выражение ужасно всегда смешило: ни у него, ни у бабушки никаких усов не было, куда ж наматывать?! На клубничные усы, вот разве что... Но сейчас он даже не улыбнулся: похоже было, что у бабушки тоже имелись некоторые секреты. Он решил тогда, что станет хранить их так же строго, как бабушка Та. Зачем – потом как-нибудь узнается. Кому нужна жизнь без тайн и чудес?!

Лето на Капустинке все длилось и длилось, а потом вдруг неожиданно устало от собственного долгожития. Почти все цветы на лугах полиняли, сменяли яркие соцветия на ничем не примечательные колоски, метелки, пучки и коробочки.

– Бабушка, ну зачем же они?.. Такие красивые были...

– Всему свое время, милый. И красоте, и семени. А как же? – и у людей то же...

Потом дожди начали сыпать чаще, а они убирали огород, и мальчик помогал бабушке заготавливать овощи впрок – икру из кабачков, салат из перцев, и заправку для борща из свеклы, чеснока, лука и морковки. В кладовке уже некуда было ставить банки с маринованными грибами; уже наварили они с бабушкой из бесконечных яблок и компотов, и варенья, и пюре, и пастилы (кажется, пастилы впрок осталось не так уж и много, потому что мальчик ел её постоянно, так она ему нравилось, а бабушка только делала вид, что ругается) – а всё равно кое-где на ветках ещё румянились краснобокие мячики.

– Нет, всё. Это уж птичкам, – сказала как-то раз бабушка, – похоже, зима лютая будет, снежная... Нельзя – все Божьи твари, надо и им запасец...

И больше они уже не лазили по старой, трясучкой страдающей стремянке, с длинной палкой, на конце которой крепилась рогулька-троеручка из сосновой развилки, стянутая для надежности потрепанной, когда-то синей изоляционной лентой. Мальчику хотелось бы ещё хоть разок подняться, замирая от страха, по ненадежной шаткой лестнице, но бабушка сказала – всё, и это было действительно всё. Яблок набралось довольно в кладовке, в дырчатых ящиках из пластмассы и фанеры, выстланных старыми газетами.

Потом почему-то утренний ветер сделался холодным, и так каждый день; по утрам мальчик начал находить на подоконнике за окном нападавшие листья клена, яблони, вишни... Он очень жалел эти оторвавшиеся от родни, осиротевшие листки: открывал окно и забирал их в дом, чтобы хоть немного отогреть.

– Опять холода напустил? – спрашивала бабушка Та, вздыхая.

– Бабушка! У листьев температура: они красные, и падают на пол...

А потом палый лист, как фигурные камешки, сплошным ковром выстелил дорожки сада и тропки в лесу, и мальчик попросил у бабушки нитки:

– Мы их пришьем обратно, бабушка, на все ветки, пришьем крепко-крепко! Ты поддержи лестницу, как – помнишь? – когда яблоки...

Но бабушка Та качала головой, опять вздыхала и объясняла, что ничего из этой затеи не выйдет:

– Лето к осени не пришьешь... Всё должно идти своим чередом.

Мальчик заволновался – а как же листья-то, ведь погибнут?! – но бабушка ответила, что нет, на самом деле ничего никогда не погибает, не пропадает бесследно.

– Следующей весной там, где они нападали, травка вырастет. И другие деревца, и кусты, и цветы всякие... Вот придет весна – сам увидишь!

Вскоре вечерняя темнота стала пробираться в сад задолго до ужина, и бродила под окнами уже чуть не после обеда, а к чаю делалась вовсе непроглядной. Если не было других дел, бабушка Та обычно располагалась «в зале» – в плетеной качалке, которую перетащили с веранды, с корзинкой вязанья. Она вязала салфетки, и толстые теплые носки, и мальчику свитера, и ещё какое-то ужасно красивое пестрое «лоскутное» покрывало...

– Я так люблю вязать, – говорила она, как будто чуточку смущаясь, – это настолько вкусное занятие, что хочется взять кусочек, и положить в холодильник.

– Зачем – в холодильник?!

– Ну, на черный день...

Кроме того, она читала мальчику из тех книжек и журналов, что хранились в кабинете в шкапу, – о Снежной Королеве, волшебном Огнive, Илье Муромце и Алеше Поповиче; о Сивке-Бурке, Тугарине-Змие, Василисе Премудрой, Финисте – Ясном Соколе, Аладдине... Яркие краски тех историй, что рассказывали книжки, как будто делали мрак за окнами чуточку менее густым.

По раскисшей и потонувшей в лужах дороге к лесу стало не пройти; она была желто-красной там, где её выстелил опавший лист, и сине-серой там, где в больших лужах отражалось небо. Утром вплотную к дороге подступала стена густого тумана, и придорожные ели виделись не четко, а как будто нарисованные акварелью на мокрой бумаге. А на краю лугов, куда теперь ходить сделалось топко, да и не за чем (но мальчик всё равно ходил), среди крепких стволиков золотарника, пониже поникших от дождя пушистых их головок, кто-то подвесил бабушкину вязаную салфетку, круглую, кружевную, только почему-то не белую, а серую и тонкую до прозрачности; её, как бисер, усеивали капли дождя.

– Бабушка, смотри! Смотри, твоя салфетка?..

– Это паутина, милый. Всегда по осени пауки плетут...

– Как в твоих вязальных журналах, да? Ты им срисовать даешь?..

А потом пришло утро, когда мальчик вышел гулять, и замер от изумления, и смотрел, и не узнавал ничего. Не было больше травы – зеленого пушистого шелкового ковра, наброшенного на луг. Сегодня все ниточки, все травинки луга как будто перессорились: каждая травинка отодвинулась от другой, побелела, сделалась жесткой и хорошо видной; и они хрустели под ногами, как крахмал, из которого бабушка варила кисели.

Заросли сныти у речки стали голубыми и ломкими, а дальние кусты надели напудренные парики на вчера ещё рыжие кудри. Сосновые стволы кто-то обсыпал мукой; на березах больше совсем не было листвы, вместо неё каждую крону укутывали летние кучевые облака, и сквозь них просвечивали черные стволы и ветви. Мальчик трогал траву и листья – они были холодные, как только что из морозилки, но через молочный налет ещё просвечивали вчерашние их цвета.

Бабушка говорила – «белый, серый»... И мальчик очень удивлялся, потому что она явно не замечала, или не хотела замечать, или не умела заметить – белый был совсем не белый, а того же цвета, что и старая ванна, в которой отстаивалась вода для полива огорода, а про неё бабушка сама говорила – «мраморная». И серый был не такой, как пыль на летней дороге через луг, а как шкурка у мышки – темноватый на изгибе, почти черный в тени... Но на следующий день белый цвет взял свое.

Очередным утром мальчик глянул в окно, и испугался: за окном простиралось царство Снежной Королевы. Забор, крыша сарая, облетевшие яблони, терновые заросли и скамейка под вишней, – всё сделалось белоснежным. Кроны сосен с трудом удерживали на ветвях снежные тулупы мехом наружу.

– Бабушка Та?!

– Это зима, солнышко. Просто зима пришла...

У сарая синело переплетение чьих-то следов. Мальчик посмотрел внимательнее, и решил, что это, конечно, её следы, зимы. Только почему так много, и перепутанные?.. Может быть, она играла сама с собой в жмурки?..

Зимой пришлось влезать в меховой тулупчик и валенки, стоявшие колом. Мальчик проваливался в них, как в сугроб у компостной кучи. Только до кучи нужно было ещё дойти, а валенки прятались в прихожей под вешалкой, раззявив пасти, и набрасывались, как только бабушка надевала на мальчика толстые лыжные штаны, – ноги оказывались спутаны, не убежать... Бабушка просто вставляла мальчика в валенки, как патроны в двустволку.

Пока бабушка искала шарф и варежки, мальчик сопел у комода, а потом начинал потихоньку подпрыгивать внутри валенок (ему было скучно); когда подпрыгиваешь достаточно высоко, то можно, если повезет, упасть обратно не на дно валенка в толстую стельку, а на склон голенища; тогда лоскутный половик вдруг прыгал навстречу, как щенок, который норовит лизнуть в лицо, а бабушка оказывалась почти вверх ногами, и это было очень весело. В таких случаях бабушка зачем-то пугалась, и начинала его поднимать, и спрашивать, как он себя чувствует, а ему было жарко и смешно, и он говорил:

– Бабушка Та, давай скорее одеваться, а то я совсем растаю, как Снегурочка.

Когда выпал первый, влажный, все заметающий снег, мальчик вышел на улицу и начал разглядывать белые сосны, задирая голову все выше и выше, пока опять не упал навзничь, а встать уже не смог. И он остался лежать, разглядывая удивительные сугробы в небе, пока не прибежала из дома бабушка – в тапках и платке.

– Что ж ты всё падаешь-то, а? – сердито спросила бабушка Та, а мальчик ответил:

– Просто хочу смотреть на небо. А ты на меня накрутила всё, что было в прихожей, и жилетку, и тулупчик, и ещё свой старый платок. Мне жарко, и я сейчас опять лягу.

– М-да, – сказала бабушка с сомнением, но платок сняла.

...На яблоневых ветвях лежали толстые колбасы снега; иногда длинная колбаса не могла удержаться на гладкой ветке, соскальзывала, но не падала, а повисала петлей, как сытый белый удав. Мальчик старался обходить это место стороной: кто его знает, а вдруг кинется?.. На садовой лавочке, на пеньке, где бабушка рубила дрова, лежали снежные перинки. Голубым, черными травами расписанным половиком снег спускался к реке. В березовых рожицах стало совсем светло – казалось, березы упятились по сугробам вглубь, чтобы там, в глубине, сделаться и вовсе незаметными.

– Бабушка Та... Они чего-то испугались?

– Зимы. Смотри, рябина-то до земли ветки склонила, сколько ягоды на ней уродилось. А это значит, очень суровая зима будет, злая... вот деревца и жмутся друг к другу, как птицы.

Зима действительно оказалась суровой. Печку топили и с утра, и к вечеру, она ухала и стреляла дровами (к морозу это, ох, куда ж ещё-то! – тревожно приговаривала бабушка); и все равно к утру окна покрывались бабушкиными белоснежными узорными салфетками, сахаристыми и недолговечными: стоило опять затеплить печку, как окна начинали плакать, узорчатые кружева сминались, съеживались и стекали на подоконник.

По ночам в саду вокруг дома подвывала метель, и раскачивала деревья, и билась в окна, как летом по вечерам, бывало, бились в стёкла огромные ночные бабочки. За ночь метель зализывала тропинки, как полная дурных предчувствий собака, которая яростно вылизывает последнего щенка, потому что – и этого тоже вот-вот заберут...

Иногда с крыши Дома съезжали целые лавины снега, и с протяжным гулом валились в сад, раскатываясь до самых дорожек, которые они с бабушкой аккуратно чистили после каждого снегопада. Тогда приходилось одеваться, идти на улицу, и чистить всё заново. Постепенно снежные валы подросли настолько, что в них потонула лавочка, потом кусты смородины, а потом и остатки забора. Сад укутался в бездонные толщи снега, и мальчику, когда он выходил гулять, казалось, что идет он не по знакомому участку, а по опасному ущелью в открытых всем буранам загадочных горах... Утешало одно: за валами снега, на заснеженной пустоши, в которую превратился сад, мальчик начал частенько встречать по утрам легкие тропинки, как будто кто-то стремительный и ловкий пробежал, веселясь, по неизвестному саду. В разбросанных горстях и охапках пушистого снега мальчик различал следы крупных лап; и один раз, ничего не сказав бабушке, он оставил вечером возле такого следа два кусочка сахара в стеклянной розетке для варенья.

Утром, как только рассвело (светало теперь тоже отчего-то поздно!), он побежал проверить свой гостинец. Розеточка так и стояла под утонувшей в снегах, сильно сдавшей в росте облепихой, а сахару больше не наблюдалось. С тех пор мальчик начал регулярно оставлять в саду подарки: пару оладушков, куриные косточки, разломанное надвое вареное яйцо. Бабушка Та вряд ли могла этого не заметить, но ничего не говорила.

* * *

– ...Стой, пацан, – сказал дядя, и присел на корточки, – хочешь конфету?

Мальчик гулял по тропинке у остатков штaketника, теперь всего по пояс торчащего из сугробов, выглядывая следы своих собак, когда его вдруг негромко окликнули из леса.

– Нет, – твердо ответил мальчик, потому что точно знал: у чужих ничего брать нельзя. Да и дяденька был какой-то *не такой* – лицо мягкое, глаза блёклые, куртка в пятнах.

– Да ты не бойся, я на самом деле свой. Я тут рядом, за речкой живу, в поселке... Ты мне скажи, бабка-то не померла ещё?.. Не болеет?..

Мальчику сразу подумалось, что дядя относится к разряду «уматонету», но он был вежливым, и вслух этого не сказал, только посмотрел на незнакомца, появившегося из леса у оврагов, ещё более пристально и недоверчиво. Ну, додуматься же надо было – бабушка Та умерла!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.